

Ему снилось, что он летит над землей на корабле. Темное от времени, просоленное дерево постариковски стонало, а голая мачта, казалось, цеплялась за ветер, чтобы удержаться даже не на поверхности океана, скорее — над ним. Она выглядела жалкой и бесполезной, как скелет кем-то съеденной рыбы, вот только во сне Никите не было дано узнать: кто украл его парус?

Он упустил момент, когда попытки высоких волн дотянуться до его корабля переросли в штормовое неистовство. А позднее, уже днем, подумал, что, наверное, сны просто сглатывают эти переходные состояния, ведь их время ограничено, и нужно успеть провести человека через главное: штиль — шторм. Остальным, невнятным и зыбким, наполнены дни...

Никита понимал: этот шторм придумал он сам. Просто изнемог оттого, что ничего не происходит. Тягучая мелодия жизни, похожая на заунывные звуки губной гармошки, вытягивала душу, хотя каких-то три года назад он и не замечал этой монотонности. До того момента, как одно лицо из тысячи плоских, словно нарисованных на длинном панорамном холсте, вдруг не выделилось из этой череды. Не заставило вздрог-

нуть, как море сотрясается от подземного толчка, за которым следует такая волна, какой никто и не ждал.

Оказалось, он просто не рассчитал свои силы. Подспудно желая, чтобы все в нем наконец всколыхнулось и задышало совсем в другом ритме, Никита и представить не мог, что этот ритм окажется сумасшедшим до такой степени. Он всего лишь хотел немного встряхнуться, а его вывернуло наизнанку... Теперь он не узнавал себя.

Долетавшие снизу брызги намочили его рубашку, такую, каких Никита никогда не носил, — черную, шелковую, с просторными рукавами. Она оказалась не застегнутой, просто заправленной в брюки, и волосы на груди тоже покрылись капельками. Этого не могло быть, но Никите чудилось, что он каждым волоском ощущает ледяной бисер, который его самого превращал во что-то другое, продолжая череду изменений. Чем она могла закончиться?

Возбужденные вопли чаек проникали прямо в его кровь и растекались в ней толчками, будто все еще подгоняемые взмахами крыльев. В их движениях чувствовалось нарастающее отчаяние, которое грозило довести до кипения даже его разум. Впрочем, может быть, это уже произошло...

Содрогнувшись от такой догадки, Никита наспех вытер лицо влажным рукавом, и это прикосновение, приснившееся, но такое осязаемое, оставившее на коже ощущение солоноватой прохлады, заставило его подумать, что и пригрезившееся безумие реально лишь наполовину. Но, не проснувшись, Никита не мог понять, что именно неправда: то, что оно случилось с ним, или же то, что его удалось избежать?

«Я не позволю ему справиться со мной!» — протестующе крикнул он и проснулся от своего голоса, ко-

торый прозвучал только внутри него, но так громко, что сумел разбудить.

А может, это сделал ветер, который сдуру ворвался в комнату, хотя в его распоряжении был огромный мир. Он быстро понял, что угодил в замкнутое пространство, где особенно не разгуляешься, и с лихорадочностью больного клаустрофобией полез в маленькую форточку. Попутно зацепил штору, и она выгнулась парусом, прижалась к стеклу так страстно, что даже оно, холодноватое и бесполое, не могло не отозваться. Но его ответное движение, если оно и было, тут же спугнула ваза с сиренью, сбитая неосторожным порывом. Она бесцеремонно звякнула хрустальным боком о стекло, требуя в первую очередь спасти именно ее. И Никита спросонья именно за вазу и схватился, еще не вспомнив, что в ней вода, просто инстинктивно отозвался на вопль о помощи.

Только закрыв форточку, он сообразил, что эту ночь, первую после пятидесяти предыдущих, проводит дома. Правда, не в том доме, где прожил последние пятнадцать лет, но вот здесь, в этой самой комнате, оставалось его детство и то время, когда молодость, казалось, еще только начинается. Никита почти не помнил, каким был тогда, осталось только ощущение предчувствия чего-то необычного, потрясающего, что должно было с ним произойти...

Зато он хорошо помнил разные мелочи, детские безделушки: диковинные брелоки, несколько ножичков, марки с репродукциями картин, значки с символикой Московской олимпиады — главного события его юности. Ему не нужно было даже поворачивать голову, чтобы увидеть светлокожий книжный шкаф, на узкой стенке которого был навечно приклеен ка-

лендарь тех же времен с олимпийским Мишкой. На прогнувшихся от времени полках мирно соседствовали Юрий Казаков и Генри Миллер, некогда поразивший Никиту не своим тоскливым цинизмом, а откровением на счет возбуждающего, почти развращающего действия фортепианной музыки. Когда его самого скрутила черно-белая страсть, Никита сразу вспомнил страницы о грехопадении при соучастии Черни. Только в его случае потрясать кулаками следовало у надгробия Листа...

Среди пластинок — виниловых, теперь ставших почти реликтовыми, — Листа не было. Следы юности оказались не так уж и глубоки, в них прочитывались другие имена — Адамо, Легран, Высоцкий, Дассен... Они тоже легко уживались и в нем самом, и в его маленькой комнате, выкрашенной матерью в цвет персика. Наверное, ей хотелось, чтобы ее сыну спалось сладко и сны его были радостными.

Теперь она ничего не могла поделать с тем, что ночами за ним является деревянный корабль без парусов, похожий на подгнивший гроб, который неумный шутник столкнул в воду. Никита подозревал, что сам и был этим шутником.

Выйдя из психиатрической больницы, он, ничуть не колеблясь, отправился к отцу. Его не оставляло ощущение, что пойти больше некуда, хотя знал, что и Таня, и дочка его ждут. А теперь, стоя босиком у темного окна, за которым стонал и рвался куда-то некто огромный и беспомощный в своей ярости, Никита и сам ощущал похожую беспомощность. Он растерянно спрашивал себя, что делает здесь, как удивлялся бы любой человек, обнаруживший среди ночи над собой не тот потолок, который привык видеть, открывая глаза.

Он подумал, что, должно быть, просто привязался к месту, как одна из тех кошек, что в невероятных количествах развелись в доме отца после смерти матери. То одна, то другая из кошек время от времени исчезала, и отец переживал эту очередную потерю так, будто рвалась еще одна ниточка, что связывала его с покойной женой. Он, не шутя, верил, будто кошки передают ей все, что вечерами выслушивают от него.

«Я не просто так сошел с ума, — хладнокровно решил Никита, добравшись мыслями до этих отцовских посиделок. — Это у нас, видимо, наследственное».

Не улыбнувшись этой нелепости, хотя ему уже объяснили, что депрессивное состояние, которое он пережил, не носит хронического характера и уже тем более не передается по наследству, Никита вернулся в постель и, отбросив одеяло, вытянулся на животе. Только сейчас он почувствовал, что еще способен получать удовольствие от одиночества и свежести постели, которых был лишен не только в больнице, но и — первого — все пятнадцать лет своего брака. Почему-то он все чаще ловил себя на том, что говорит не «семья», а «брак». Это казалось неправильным и несправедливым, ведь у него была самая настоящая семья. До того, как он вызвал внутри себя шторм и захлебнулся его мощью...

Все дожди собрались в месте том, где с тобою живем, Где наш маленький дом в одночасье стал ветхим жильем. Налетит ураган, меня к Гудвину он унесет — В нашей сказке с тобою сложилось все наоборот.

Не спрошу у волшебника

точной дороги назад,

Я пройду по плацу, где планеты

проводят парад,

А на той стороне гору звездных

камней наберу

И сложу дом другой... Но тебя в него

не позову.

Впрочем, он подозревал: Таня и не догадывается, что их семьи больше нет. Разве он говорил ей об этом? Разве кто-нибудь говорил? Да и кто знает? Никита был уверен, что даже близким известно лишь то, что лежит на поверхности: товарищ по «Богеме» украл у Никиты рукопись и под своим именем издал сборник стихов. Странно, конечно, что за это Никита не набил ему морду и не побежал в суд, а угодил в психиатрию, но ведь не зря говорят, что «каждый по-своему с ума сходит».

(Он спросил: «Никита, а почему вы не издаете свои стихи? Спонсора нет?»

«Нет, — согласился Никита. — Но главное не в этом...»

«А в чем? У вас же накопилось на сборник!»

Никита с трудом заставил себя повторить это слово: «Накопилось. Но мне все кажется, что я вот-вот напишу что-то гораздо лучшее».

«Да ну, — с недоверием протянул Алеша. — Если б у меня было столько стихов, я б их сразу издал. А то их вроде как и нет...»

«Как нет?» — поразился Никита.

«Ну, кто их знает? Только наша «Богема» разве что... Вам же не пятнадцать лет. Разве это может вас удовлетворить?»

Никита впервые заинтересовался:

«А тебе сколько лет?»

У Алеши как от нервного тика задергалось лицо — узкое и землистое, словно у приютского мальчика.

«Двадцать три», – не сразу ответил он.

Никита попытался свести все к шутке:

«Значит, и ты уже жить не можешь без своей книги?»

«Не могу», — подтвердил он с той сумрачной серьезностью, которая могла бы насторожить Никиту, но этого не случилось. У него было слишком идиллическое отношение к «Богеме»...

Подергав обветренными губами, с которых так и хотелось содрать мелкие корочки, Алеша с раздражением добавил:

«Только мне пока издать нечего, сами знаете... А спонсоров я нашел бы. Я знаю, как уговорить».

Может быть, если бы тогда Никита пересилил себя и сказал что-нибудь неискреннее, но ободряющее, с ними обоими ничего не случилось бы...)

«Если б дело было только в краже, — перевернувшись на спину, сказал он с детства знакомой сетке трещин на потолке. — Да плевать бы я хотел на эту книгу, если б она не была тем единственным, с чем я могу прийти к Лине... Что я представляю собой без этой книги, ей посвященной? Каждая строчка пропиталась ее дыханием... Без нее и не ожила бы. Ритм любой строфы был задан частотой взмахов ее руки над клавишами... Без Лины этих стихов просто не было бы. Я мечтал издать миниатюру, чтобы вложить ее в ладонь. В ее ладонь... Не в том дело, что этот чахлый ублюдок украл рукопись. Как, кстати, это ему удалось? Ладно, черт с ним и с книгой тоже...

Но он лишил меня возможности хоть на шаг приблизиться к моей мечте, вот что меня подкосило. Лишил надежды на продолжение жизни... Именно про такой и говорят: перекрыл кислород. Дышать больше нечем».

Он не лукавил, хотя в физическом смысле дыхание все еще было с ним. Таня не позволила ему прерваться... Ему по-прежнему хотелось спать, и уже под утро проснулся голод, и затекающие мышцы требовали сменить положение. Но Никита больше не чувствовал в себе той жажды жизни, того веселого кипения крови, которое еще два месяца назад позволяло ему наслаждаться каждым днем.

Он повторил то, до чего додумался в больнице: «Я наказан за то, что совершил, хоть мысленное, но все же прелюбодеяние». Это открытие уже не пугало его и не вызывало в душе раскаяния. Когда ты уже мертв, поздно каяться... Никита догадывался: он повторяет это так часто лишь потому, что не может поверить, что это — грех. Лина и грех находились в разных плоскостях не только его сознания, но и всего мироздания, в котором с каждым годом обнаруживалось все больше изъянов. Вот только одно не могло измениться, сколько бы лет ни прошло.

Ему не нужно было самому себе открывать глаза на то, что Лина, хоть и пианистка, но в остальном — обычная женщина. И она также зевает по уграм, и у нее бывают и насморк, и кишечные расстройства, и дурное настроение. Все это Никита принял сразу же, потому что всегда был нормальным, здравомыслящим человеком. И даже сам о себе не знал того, что способен сойти с ума. Он уснул с уверенностью, что теперь совершенно здоров и что здоровье это совершенно ему не нужно.

То, как именно Никита уснул, даже нельзя было определить расхожей фразой — «провалился в сон», ведь это уже предполагает хотя бы подобие действия. Он же не почувствовал ничего. Кто-то сглотнул несколько часов, и наступило утро. Очнулся Никита с мыслью, которую не прервало временное беспамятство: «Даже если это утро будет трехтысячным, оно нисколько не приблизит меня к Лине...»

Теперь, когда рассудок его вынудили проясниться, а тело упорно продолжало двигаться, утомляться и чего-то желать, ему предстояло научиться жить с этой мыслью. Хотя он никак не понимал: зачем? Все, чем он был поглощен последние три года, все, о чем он думал и чего хотел, оказалось так или иначе связано с Линой. С надеждой приблизиться... просто приблизиться к этой женщине. Хоть когда-нибудь... Теперь Никита не находил о чем думать, на что надеяться, чем жить.

Он ни на минуту не забывал, что в эти три года произошло много важного для него и никак не связанного с Линой. Дочка окончила начальную школу. Он защитил кандидатскую. Таня стала руководителем своего ансамбля пластического танца, который так и называли «Пласт». На самом деле это и составляло реальную жизнь, но высший ее смысл заключался в том, что на свете существует Лина. Но это было Никитиной святой тайной, ведь, кроме товарищей по «Богеме», никто не знал даже о том, что Никита Ушаков пишет стихи.

Почему он так болезненно скрывал свое творчество? На их кафедре истории культуры было несколько сочинителей, и ни один не отказывался почитать вслух за праздничным столом, со-

ставленным из нескольких студенческих. Никита о таком и помыслить не мог. У него начинало выскакивать сердце, и холодом сводило руки, стоило ему лишь мельком представить, что он может вот так же подняться с рюмкой в руке и вместо какого-нибудь дурацкого веселого тоста прочесть те строки, которые на самом деле были и не стихами даже, а безудержным стоном, который какимто чудом удавалось передавать знаками и наносить на бумагу...

И почему он не боялся этого в «Богеме», их чердачном... клубе — не клубе, студии — не студии?.. А оказалось, что скрываться следовало как раз от тех, кого Никита считал чуть ли не братьями. Родных у него не было, только сестра, которая к тому же была моложе на несколько лет, а ему всегда хотелось испытать теплоту братства. Теперь он чаще вспоминал о Каине с Авелем...

Отмахиваясь от запоздалых сожалений, как от оголтелых комарих, Никита вышел из комнаты и увидел отца там, где и ожидал: на кухне в окружении кошек. Все, кроме него самого, чинно завтракали из маленьких пластмассовых блюдец, расставленных по полу в шахматном порядке. На Никиту никто не обратил особого внимания, только две самые тощие, видимо, не так давно вышедшие из городских джунглей, стали нервно оглядываться, угрожающе подергивая хвостами.

— Привет, пап, — сказал он как ни в чем не бывало, по лицу отца мгновенно угадав, что и тот собирается вести себя как ни в чем не бывало. — Очередная партия вдов и сирот? Как ты ухитряешься изловить такую ораву?

- Он издевается, господа! - объявил отец. - Да я уже не знаю, куда от них прятаться! У них же нюх, как у доберманов. Так и лезут со всех сторон...

Это было неправдой, и они оба это знали, но у Никиты не возникло ни малейшего желания уличать отца. Его невероятно трогали эти попытки прикрыть свою тоску старческим брюзжанием.

— От тебя вкусно пахнет, вот они и дуреют, — заметил он и заглянул в стоявшую на плите кастрюлю. — Овсянка? Ты кормишь кошек одной овсянкой? И они так лопают? Наверное, я чего-то не понимаю в этой жизни.

Отец степенно отозвался:

- Наверное, многого. Это завтрак английских принцесс.
- В Англии сейчас только одна принцесса, насколько я знаю.
- Всего? А нас еще смеют называть слаборазвитой страной! У нас с десяток принцесс на каждой помойке, он любовно оглядел подрагивающие от спешки спинки. Смотри, какая грация! А ведь все родились где-нибудь под расшатанным забором. Так что происхождение это...

Не слушая, о чем говорит отец, Никита пробормотал:

– У тебя не осталось ни одного темного волоса...

Отец оглянулся, но с ответом помедлил. У него была большая голова и большие, почти черные, глаза, но все остальное выглядело мелковатым. Никита помнил, что уже лет с тринадцати гордился тем, что перерос отца. Теперь он никакой гордости не испытывал. Ему было жаль, что больше нельзя забраться к отцу на колени и выплакаться вволю, чтобы скопившееся горе опять не свело с ума...

 Мне ведь за шестьдесят, — негромко напомнил отец и отчего-то отвел глаза.

Никита сразу вспомнил то, к чему еще не успел привыкнуть: он и сам поседел в больнице.

- Говорят, ранняя седина от избытка кальция, улыбнулся он.
- Правда? подхватил отец. Тогда это у нас, похоже, наследственное.
 - Это? А я подозревал, что другое.

Быстро наклонившись, Никита схватил за хвост кошку с самой простонародной полосатой шкуркой и легонько потянул к себе. Тренированные уличными боями, лапы мгновенно растопырились, и кошка отчаянно заскребла когтями линолеум, пытаясь удержаться возле миски.

- Господа, у моего сына атрофировался мозг, невозмутимо сообщил отец. Она же отомстит. Это тебе не собака.
- Думаешь, они все мстят, когда обидишь? Никита продолжал удерживать в кулаке гибкий сильный хвост, хотя думал уже не о животных.

Отец отозвался так, будто понял его:

— Может, и не все... Но если хотя бы одной из них вздумается это сделать, тебе мало не покажется.

Разжав руку, Никита осторожно погладил серый мех, под которым волнами прокатывалось раздражение. Ему показалось, что кошка отторгает его.

Он оставил ее в покое и опять заглянул в кастрюлю, на дне которой оставалось немного каши. Она сбилась жалким комочком и зябко ссохлась сверху, но Никита все равно спросил:

– Можно я доем? Желудок уже сам себя пожирать начал. Это, наверное, от таблеток.

 Да ради бога! — откликнулся отец, ничуть не смутившись, что сын, который был вроде как у него в гостях, выпрашивает остатки кошачьего завтрака.

Достав ложку из того ящика, где они лежали и тридцать лет назад, Никита почерпнул побольше прямо из кастрюли и набил полный рот. Каша оказалась еще теплой, только совсем не сладкой.

- А зачем кошкам сахар? удивился отец. Они и так прекрасно обходятся.
- $-\,$ Но я-то не кошка! Мог бы и предупредить. Я б хоть сверху посыпал...

В ответ прозвучало наставительное:

- Сладкое вредно.

«А зачем мне себя беречь?» — подумал Никита без отчаяния и надрыва, почти равнодушно, ведь у него было время принять то, что он больше не напишет стихи, не пойдет на школьный концерт, не увидит Лину... Эти действия не совершали миллионы людей и были при этом довольны своей жизнью, Никита понимал это, только никак не мог уяснить: зачем нужна такая жизнь?

Дело ведь не только в книге? — макая в чашку с кипятком пакетик чая, спросил отец.

Не поверив, что он заговорил об этом, Никита привычно переспросил:

- Что-что
- Не из-за книги же ты... заболел, упорно высматривая что-то на дне чашки, уточнил отец. Помнится, ты никогда и не собирался быть поэтом. Ты ведь не к изданию стремился, правда?

Облизав ложку, Никита бросил ее в кастрюлю. Кошек так и придавил к полу этот резкий металлический звук. Их головы, мгновенно ставшие плоски-

ми от того, что разом прижались уши, повернулись, как у солдат по команде: «Равняйсь!» Но стоило Никите заговорить, как они с прежней обстоятельностью принялись за еду.

- Это шито белыми нитками? - спросил он.

Отец опять отвел взгляд:

- Для кого как... Таня вряд ли что-нибудь разглядела. Ей не хочется этого видеть.
 - А Васька?

О сестре он помнил все это время, но спросил только сейчас. На самом деле ее звали Василисой – родителям нравились протяжные, былинные имена. Но Никита прозвал ее Васькой, по-своему, с детской нелогичностью протестуя против того, что его одарили сестрой, а не братом. Его утешало лишь то, что в Ваське оказалось очень мало девчоночьего. Ее черные волосы с рождения торчали «ежиком», а глаза были вытаращены от непроходящего изумления: «Как же много можно натворить в этом мире!» Она росла шкодливой и вместе с тем ленивой, Никите приходилось делать за нее уроки и отыскивать в школе потерянную «сменку». Разозлившись, он мог дать ей затрещину, но другим не позволял и пальцем тронуть свою сестру. Пять лет разницы не укрепляли их дружбы, но и не мешали любви.

«Ва-аська, — протянул он про себя. — Вот тебя я хочу увидеть...»

— С Василисой мы этого не обсуждали, — ответил отец тоном, слишком нейтральным для того, чтобы можно было в это поверить.

Только усмехнувшись, Никита опять спросил о сестре:

- Своего урода она еще не выгнала?

— Он не урод, — возразил отец. — Только голова квадратная, а так ничего... И потом, если кто кого и мог выгнать в такой ситуации, так это он ее.

Никита сердито хмыкнул:

- Кто мог подумать, что Васька сама полезет в золотую клетку?!
- Может, изнутри она кажется дворцом... Кто не мечтал о собственном дворце? Давно мы с тобой там не были.
 - Я и не собираюсь!
- Теперь это ее дом. Ты не имеешь права презирать ее выбор.
- Как ты правильно заговорил, поморщился Никита. — Почему это я не имею права?

Выбросив измученный пакетик с заваркой, отец все также внушительно произнес:

— Потому что это — ее выбор. Свой презирай сколько угодно. Ты вот ешь овсянку прямо из кастрюли, и тебя это не унижает...

- A ee?!

Он так и захлебнулся всем, что нахлынуло, протестуя и защищая Ваську. Ведь она не могла забыть, как однажды мать увезли с кровотечением в больницу, а отец ни о ком не мог думать в тот день, кроме нее, и они с Васькой с голодухи съели кошачью похлебку, которую обычно готовили на несколько дней. Не раз они перекусывали немытым щавелем и заячьей капустой. Забравшись на черемуху, прямо зубами срывали с веток ягоды, а теперь, по словам отца, выходило, будто Ваську все это унижало, и она только того и ждала, чтобы кто-нибудь вытащил ее из нищеты и усадил за дубовый стол, уставленный серебром.

Понимая, что это несправедливо по отношению к отцу, Никита все же сказал:

– Ты ее просто не знаешь.

Гораздо более справедливым ему казалось спасти Ваську от того образа, который на нее натягивали. Не со зла, конечно, к тому же она сама дала повод думать, что он может ей понравиться. Но как бы то ни было, Никита не мог позволить настолько изуродовать свою сестру.

Отец приподнял брови, одна из которых уже начала седеть, а другая оставалась черной:

- Может, Васька и сама себя еще не знает.

«А кто знает?» — подумал Никита, и в тот же момент отец, уловив его мысль, спросил:

- Вот ты знаешь себя?
- Спрашивай-спрашивай, кивнул Никита. Ты ведь хочешь узнать что-то более... конкретное?
- Ладно... У тебя... О господа! вскричал он, пытаясь побороть смущение. Как мне разговаривать об этом с собственным сыном?
 - У меня... Что?
- У тебя появилась... Кто? Ну, не знаю... Подруга? Любовница? Как вы теперь это называете?
- Нет, не мешкая, отозвался Никита. У меня нет любовницы.

«Почему я так упорно таюсь от отца? — мелькнуло в голове. — Он ведь меня не выдаст...»

— И ты не собираешься разводиться? — превозмогая неловкость, уже выступившую испариной на крыльях носа, продолжал допытываться отец.

Пришлось повторить еще раз:

- Нет. И внезапно решившись, Никита добавил: Хотя так оказалось бы лучше.
 - Кому? Тане? Муське?
- Мне, откровенно сказал Никита и попытался выдержать его взгляд. Только мне.

Бросив в раковину чайную ложечку, которую все вертел в пальцах, отец грустно проговорил:

- Господа, она все-таки существует...
- Кто?
- Она.
- Да. Она существует. Только она никогда не была моей любовницей. И не будет. Теперь уже нет...

У отца сделались такие глаза, что Никите захотелось как в детстве забраться под кухонный стол, чтоб никто его больше не видел. Оттуда все выглядело другим, и когда мальчика что-то пугало или расстраивало, он залезал под стол, инстинктивно надеясь справиться со страшным, просто изменив угол зрения. Почему-то Никита даже не вспомнил об этом два месяца назад, когда страшное опять его настигло.

- Жаль, - освободив сына от своего взгляда, сказал отец. - С любовницей легче расстаться...

«Неужели?!» — поразился Никита его уверенности.

— Так ты это *знаешь*?

Ему и раньше было прекрасно известно, что весь мир грешен, но сейчас от пустячного, еще не произнесенного подтверждения почему-то полегчало. Хотя его собственный грех оставался настолько умозрительным, что, пожалуй, любой здравомыслящий человек поднял бы Никиту на смех. Вот только Никита больше не считал себя здравомыслящим.

Отец ответил с нахальным мальчишеским вызовом:

- Ну, знаю!
- Вот это да, прошептал Никита, разглядывая его, будто впервые. Я и не подозревал...

- Я унес бы эту страшную тайну в могилу... Только, может, она для тебя сейчас, как бальзам на душу. Всегда легче становится, когда видишь, что в трясину влип не ты один.
- В трясину? Я не так это вижу... Ну да ладно, мне действительно как-то полегчало. Уж не знаю почему...
- Господа, он не знает! Да просто потому, что ты наконец заговорил. Ты в курсе, я никогда не ронял слюни по поводу всяких психотерапевтических штучек... Но если ты все будешь держать в себе, оно задавит тебя, и все тут!

Терпеливо, как врач у пациента, Никита спросил:

- Что ты хочешь услышать?
- Все, заявил отец. Что тебя так изводит? Ты же на себя не похож! Я еще не видел, чтобы так изводились из-за женщины... А у меня все друзья по два-три раза женились. Она не любит тебя?
 - Она меня даже не знает.
 - Совсем?
 - Даже не видела.

Отец громко вздохнул:

- Еще не лучше...
- Это хуже?
- Гораздо. Таня, конечно, ничего не знает?
- Я надеюсь. Зачем ей знать? Я ведь никуда не ухожу... Я просто не могу пойти туда сейчас, понимаешь? Я еще ощущаю заторможенность, тоже, наверное, из-за таблеток. Так и выдать себя недолго.

Взяв на руки одну из кошек, которая не проявила никаких признаков радости, отец сказал:

- А может, ты этого и хочешь?
- Наверное, не сразу ответил Никита, глядя на подрагивающее треугольное ухо кошки. – Одно-

му мне сейчас было бы легче. Гораздо легче. Только ей-то за что такое? Тане, я имею в виду... Она не заслужила.

- Это уж точно, без фальшивого воодушевления подтвердил отец. Но я, знаешь ли, больше о тебе сейчас думаю. Ничего не поделаешь, из вас двоих ты мне роднее. Не подумай, что я притягиваю за уши, но мне ведь всегда казалось, что ты способен... на такое.
- На любовь или на самоубийство? заинтересовался Никита.

Он поднял другую кошку и провел рукой по коричневой шкурке: «Теплая... Может, мне просто тепла не хватило? Моя температура опустилась ниже положенной, и меня потянуло в сон...»

- А есть разница? усмехнулся отец так, что почудилось, будто сейчас он расплачется. Когда речь идет о *такой* любви... Это и есть самоубийство. Слава богу, Он ничем таким меня не испытывал. А ты всегда... всегда чем-то отличался от других детей. Даже взглядом.
- Ты же всем рассказываешь, что в детстве я был хулиганом!
- Это да. Но иногда ты смотрел на меня, и мурашки по коже рассыпались.
 - Как я смотрел? Кровожадно?

Не поддержав его тон, отец сказал:

- Не то чтобы по-взрослому... А как-то трагически. Мне даже казалось, что ты видишь нечто такое, что нам не дается.
- Ваши внутренние органы. Я читал, что у многих малышей вместо глаз по рентгеновскому лучу.
- Ты все еще не можешь говорить об этом серьезно?

Тогда Никита пробормотал кошке в ухо, которое быстро задергалось, показывая белый пушок внутри:

- Значит, я прозревал свое жуткое будущее.
- Может, если б мы были повнимательнее, то смогли бы чем-нибудь помочь тебе...
- Например, удавить подушкой в колыбели... Ну, хватит, отпустив кошку, Никита шагнул к двери и, не оборачиваясь, сказал: Наш разговор начинает смахивать на диалог из бразильского сериала. Тебя еще не подташнивает?

Вслед ему донеслось:

 Люди влюбляются не только в кино! Ты ведь уже убедился...

Про себя Никита мрачно добавил: «Только лучше бы этого не было...»

Он спустился во двор, который казался придавленным низкими, угрюмыми тучами, и быстро пересек его, не зацепившись взглядом ни за одну из примет своего детства, потому что был слишком поглощен настоящим, чтобы прошлое могло дотянуться до него. Перебежав шоссе, Никита направился в ту часть района, где он словно присаживался на корточки и снизу хитро поглядывал на плосколицые многоэтажки. Там была «Богема». Там жил Антон.

Когда-то они встретились только потому, что Антону Сергееву понадобилась статья об абитуриентах гуманитарных факультетов. Но он проспал до полудня и потому, добросовестно потыкавшись в запертые двери нескольких кафедр, обнаружил одного Никиту. Радость не видимыми глазом, но осязаемыми пучками брызнула из глубоких ямочек на щеках Антона, а похожие на капли голубые глаза засияли. Казалось, из них вот-вот польются слезы счастья...

Но больше всего Никиту поразил его лоб: высоченный и неестественно-белый на пожелтевшем от солнца лице. Улыбка Антона была открытой настолько, что Никите почудилось, что они, если и не друзья детства, то, по крайней мере, давно и близко знакомы. И хотя с первых же слов он понял, что ошибся и они в глаза друг друга не видели, разговор уже сам собой завязался, что для Никиты не было обычным делом. Он немного дичился чужих, не находя в себе самом ничего настолько интересного, чтобы незнакомым людям захотелось тратить на него время.

Но Антону за пару минут удалось перестать быть незнакомым. Во многом, конечно, сказалась журналистская легкость общения, но Никите нравилось думать, что им просто было о чем поговорить. Усевшись на край его стола, Антон тут же поделился идеей создать в городе место, куда сами собой стекались бы все чудики, у которых еще не пропало желание что-то сочинять, лепить, выдумывать. Просто для того, чтобы пообщаться.

- Подпитаться друг от друга, сияя глазами, пояснил он.
- Рембо полагал, что в общении нуждаются лишь слабые поэты, напомнил Никита, любивший «Пьяный корабль» чуть ли не больше всей мировой поэзии.

Антон немедленно откликнулся:

— Ну, приятель! Этот парень был гением. Я же не для гениев пытаюсь создать этот клуб. Если кто-то из нас дорастет до этого уровня... Ну, отпустим его, и все дела! Между прочим, я уже и чердачок подходящий присмотрел. Пылища там уже гениальная...

Они оба считали, что в тот день «Богема» и ролилась.

Идти было недалеко, и Никита старался не торопиться, чтобы успеть хоть немного разобраться в том, о чем теперь, как ему казалось, он мог размышлять трезво. Почти трезво. В больнице он задыхался от избытка времени, как в горах жители низин теряют сознание от непривычного количества кислорода. Но думать там Никита не мог. Вместо спасательных кругов Таня подбрасывала ему современные детективы, такие же яркие и пустые. Никита хватался за них, чтобы только опять не уйти с головой в ту черноту, из которой только-только выбирался.

О его собственной книге Таня наверняка знала только то, что ее украли. Ей было страшно неосторожным вопросом разрушить то обманчивое равновесие, в которое Никита привел себя, а сам он сказал, будто «в этой работе» размышлял о Вечной Женственности. В сущности, так оно и было.

«Я хотела бы почитать», — улыбка у нее вышла такой незнакомо-боязливой, что Никите стало не по себе. Он не собирался больше пугать жену. Из-за него она и так перенесла такой страх, больше которого Никита и сам ничего представить не мог. И все же он сказал достаточно жестко, чтобы не возвращаться к вопросу:

«Этой книги не будет в моем доме».

С тех пор Таня об этом не заговаривала.

Теперь Никита чувствовал себя освободившимся и от детективов, и от таблеток и уже пытался поверить в то, что выздоровел настолько, что сможет разобраться, куда завела его эта любовь, случившаяся потому, что он принял женщину за фантастическую птицу.

Тогда был день его рождения... Сейчас это выглядело символичным: ему исполнилось тридцать три,

когда он увидел Лину. Было так жарко, что Никита с Таней сочли преступным запирать десяток гостей в городской квартире, а дачи у них не было, компания отправилась на обрыв, до которого было минут двадцать ходу. Там им тоже потребовалось немного времени, чтобы развеселиться до такой степени, что девушки решились станцевать в бикини. И затеяла это, конечно, Таня, которая наверняка знала, что в открытом купальнике будет выглядеть лучше остальных.

Распустив черные волосы, она хохотала, запрокидывая голову, похожая на прекрасную туземку с какого-то экзотического острова. Никита чувствовал, что на него, как на единственного обладателя этого живого чуда, поглядывают с завистью, но почему-то не обнаруживал в себе никаких признаков гордости. Потом, вспоминая эти минуты, — до Пришествия, — он пытался понять, в чем была причина охватившей его тоски. От нее перехватывало горло и кололо под ребрами... Предчувствие это было или что-то другое? Одно он знал точно: Таня тут ни при чем. Она любила его и ни разу не дала ему повода разочароваться в себе.

Он просто увидел Нечто. Ему почудилось, будто за деревьями мелькнула невероятных размеров птица с длинным-предлинным хвостом. Может, в нем проснулся азарт охотника, и он шагнул следом, чтобы просто догнать...

Кажется, никто и не заметил, как Никита слился с соснами, на мгновение став одной из них, как та женщина, которую он еще не разглядел, превратилась в птицу. Не подумав, что может попросту напугать ее, Никита выскочил наперерез, дуя на обожженную крапивой руку. Лина замерла, едва не выронив длиннющие стебли-перья.

Ой, извините, – глупо сказал он, опустив руку. – Мне показалось...

Она боязливо кивнула, видно еще не решив: стоит ли заговаривать с шастающим по лесу нетрезвым человеком. В тот миг Никита уже опьянел настолько, что счастливо произнес:

- Вы птица!
- А вы кто? спросила она и выставила стебли вперед, как будто они могли ее защитить.
 - Кто? Не знаю. А на кого я похож?

Лина ответила с обрадовавшей его лукавостью:

— На медведя-шатуна. Молодого медведя.

Никита оглянулся на кусты, которые разворошил:

- Ну да... Да. Вы боитесь медведей?
- Я еще ни одного не встречала, сказала она, и Никите показалось, что это прозвучало уже серьезно.

Осторожно протянув руку, он тронул узкий изогнутый лист, самый кончик которого уже сухо съежился:

- Зачем вам это?
- Они валялись на земле, словно оправдываясь, объяснила Лина и, в свою очередь, оглянулась в ту сторону, откуда пришла. Я их не срывала.
 - Да я же только спросил: зачем они?
- Поставлю в вазу. На окно. Разве это не будет красиво?

У него вырвалось:

- Хотел бы я это увидеть.

Ее тон тут же изменился:

- Это исключено. Извините.

Смотрела она, выжидая, напряженно сведя брови, и Никита сплоховал, отступил с тропы. Крапи-

ва охотно куснула его за ногу, потому что он разулся на обрыве, как и все остальные. Он сморщился и засмеялся. Над собой, конечно, и еще от боли, а Лина покраснела и быстро пошла к городу, унося свой лиственный хвост.

– До свидания! – крикнул Никита ей вслед.

Она ответила, только чуть повернув голову:

– Всего хорошего.

Только когда Лина скрылась за кривой черемухой, Никита наконец увидел ее. У него всегда была такая странность: по памяти он мог представить точнее, чем когда видел наяву. Особенно человека, потому что общение с другими заставляло его волноваться, и от этого не излечили даже десять лет преподавания.

И он увидел овал ее лица — такой нежный, что, казалось, был нарисован рукой Рафаэля. Ее глаза были не такими большими, как у Тани, и не такими темными, но во взгляде этих глаз, которым разрез придавал особую форму, Никита обнаружил нечто, не скользнувшее по его душе, а оставшееся в ней. Волосы у Лины были каштановыми, а на солнце в коротких крупных завитках вспыхивали рыжие язычки.

И еще он увидел особую бледность губ, в которой было не увядание, а нежность. И еще — удивительную плавность тела... Таня, пожалуй, сочла бы ее полноватой, для нее лишний грамм на животе уже был признаком ожирения. Но Никита, глядя на пустую тропинку, каждой клеткой ладоней ощутил ту непередаваемую мягкость, которую невозможно описать словами и от которой никак не оторваться...

Похожие черты в отдельности он встречал и раньше, но только в Лине они слились в то единое целое, которое Никита, инстинктивно обере-

гая свою тайну, назвал Вечной Женственностью. И лишь спустя миг понял, до чего же к месту пришлись эти блоковские слова.

Но тогда вблизи от обрыва (жизни?), стоя босиком в крапиве, Никита не вспомнил этого знаменитого определения. Он только смотрел на опустевший лес и чувствовал, как пустота медленно просачивается в него через голые ступни и уже заполняет его целиком, удивительным образом сочетаясь с неизведанной им ранее заполненностью. Это было знание о том, что Лина существует...

«Да, она существует», — так он и ответил отцу, солгав при этом, что Лина даже не видела его. И вместе с тем, вовсе не солгал, потому что был уверен: она давно забыла тот свой взгляд на него. Трудно было предположить, сколько бы Никита помнил свой собственный, если бы не концерт... Скорее всего, Лина отступила бы за грань, где хранятся главные радости, узнанные в жизни. Их необязательно постоянно помнить, но только из них можно сплести ту веревку, что вытянет тебя на поверхность из любой пропасти. Если их накопилось мало, длины веревки может не хватить...

Но они увиделись еще раз. Вернее, это Никита увидел, а Лина смотрела только на клавиши. У нее был слишком небольшой опыт сценических выступлений, чтобы волноваться хоть чуточку меньше. Она ведь была просто учительницей по классу фортепиано.

Никита оказался на том концерте в школе искусств только потому, что его дочка, Муська, как ее звали в семье, занималась в театральной студии, и ей захотелось послушать одну из своих подружек, которая вдобавок была еще и пианисткой.

— Надя будет играть Чайковского, — сообщила Муська таким тоном, что Никита почувствовал себя просто обязанным пасть ниц перед девочкой, которая водила дружбу со столь потрясающей особой.

Он взял и рухнул на колени, а Муська взвизгнула от неожиданности, потом расхохоталась, поматерински откидывая голову, и полезла к нему на плечи. Никита, как обычно, обскакал бодрым галопом всю квартиру, в которой всего и было-то двадцать шесть метров, и вместе с девочкой свалился на диван, опять забыв, что пружины в нем ни к черту и могут, как гнойник, прорваться в любой момент.

— Ой, мама бы нас убила! — запричитала Муська и тут же перешла на деловой тон: — Так мы идем на концерт?

Он возмутился, сбросив с себя дочку:

 Думаешь, я согласен прожить жизнь, так и не услышав божественной Надькиной игры?!

Муська без смущения призналась:

- Ничего не поняла. Мы идем?
- Идем-идем, тупое ты создание...

Она открыла было рот, видимо, с желанием ответить: «Сам тупой», — но вспомнила, что на такие вещи папино чувство юмора не распространяется, и промолчала. Собирая дочку, Никита эгоистично порадовался тому, что у нее короткие волосы, по которым можно пару раз провести расческой и этим ограничиться. Хотя самой Муське хотелось иметь длинные, как у матери. Но волосишки у девочки были жиденькие, отращивать их не имело смысла.

 $-\,$ Это в меня, $-\,$ каялся Никита. $-\,$ Видишь, у меня тоже три волосины.

Муська смертельно обижалась:

- У меня не три!
- Ох, прости! Четвертую я не заметил...
- Hy, папа! взвизгивала дочь. Вечно ты!

Эта неоконченная фраза, вспомнившись, вдруг больно задела его: «Вечно я... Оказалось, что я не вечно. Что же тогда вечно? С чем она останется, если я отниму эту веру?»

Ему увиделось, как Муська, смешно оттопырив губы, как делала Таня, подкрашивая глаза, примеряет у зеркала ее шляпу. В ней Муська становилась похожа на Гека Финна, а в спектакле ей доверили роль Бэкки. Оборачиваясь, она бросала на отца томный взгляд, каким, по ее мнению, только и можно было сразить сердце бесшабашного Тома:

- Па, подыграй!

Он тотчас включался и начинал орать:

— Бэкки, и не проси! Тетя Полли мне одному доверила покрасить этот забор. Уж кто только меня не уламывал... Почти целое яблоко предлагали, но тетя...

Пытаясь перекричать его, Муська трясла стиснутыми кулачками:

- Папа! Бэкки забор не красила!
- Нет? Никита удивленно таращил глаза и разводил руками. И даже не просила? Вот зануда...
- Никакая она не зануда, что ты зря... В пещеру же она пошла!
 - Ну, это из других соображений...
 - Папа!

Он подмигивал:

- Вот ты бы не отказалась помалевать на заборе, точно?
 - Ну, я!

- Вот-вот... A Бэкки она зануда.
- Пап, да ее там даже не было, если хочешь знать! Она еще не появилась.
- На свет? Неужели? Никита делал озабоченное лицо. А мне почему-то казалось, что она прохаживалась в стороне, вот так задрав нос...

И он принимался вышагивать по комнате, откровенно виляя бедрами и игриво вскидывая голову. Муська хохотала и цеплялась за него:

— Да все ты помнишь! Ты притворяешься, как всегда. Притворюшкин... Лучше расскажи мне, как по правде было. Про театр...

Они усаживались рядышком на визгливом диване, и Никита, понизив голос, будто собирался поведать дочери страшную-престрашную историю, рассказывал о Потешном чулане, или о четырех масках италийской комедии ателлана, или о шекспировском «Глобусе», или о Стрепетовой, о Ермоловой, Савиной...

— Ты столько знаешь, — восхищенно вздыхала Муська и с наслаждением облизывалась, будто напиталась его историями досыта.

Вспомнив и об этом, Никита без особой радости согласился: «Я много знаю. Кроме одного... Как теперь жить? Раз уж уснуть мне не дали».

Уже завидев высокую остроугольную крышу, приютившую их «Богему», Никита ясно представил поднявшуюся таким же шатром крышку черного рояля. Взлетая над клавишами, руки Лины казались рядом с его глянцевой поверхностью ослепительно-белыми. Никита помнил, что во время того концерта ему все время хотелось зажмуриться, но не от этого блеска, а от боли, которая так неуловимо сменила

вспыхнувшую в нем радость, что он и сам не заметил. Тогда он и узнал ее имя — Элина Теплова. Но не запомнил сразу, потому что, когда объявляли, Никита еще не предполагал, о ком идет речь, а когда она вышла на сцену, так заметно рванулся вперед, что Муська прошептала: «Пап, ты чего?»

Он отмахнулся. Впервые отмахнулся от своей дочери и даже не заметил этого. Ему хотелось крикнуть: «Как? Как ее зовут? Повторите!»

И в этот момент чей-то старчески-осевший голос произнес позади него: «Лина очень хорошо зарекомендовала себя в последние два года».

Он с облегчением откинулся на спинку стула: «Лина». Так и запомнил. Никакой Элины для него не существовало. Теперь он смог услышать: она играла Листа, к которому вообще мало кто из исполнителей решается подступиться. А из женщин тем более...

«Почему она здесь, в этой районной школе?» — хотелось ему спросить у кого-нибудь, но Никита бо-ялся оскорбить этим других учителей, а значит, навлечь на Лину неприятности.

К тому же в тот момент гораздо острее Никиту мучило другое: он всегда утверждал, что взаимное или даже невзаимное притяжение может называться любовью только, если существует духовное совпадение двоих. Но он совсем не знал этой женщины... Она могла не любить те книги, которыми Никита зачитывался, не знать стихов, которые он помнил наизусть. Не засматриваться на закаты. Не предпочитать ромашки и ландыши самым изысканным цветам...

И вместе с тем Никита не обнаруживал в себе нетерпеливого желания просто овладеть ею и потому

не мог назвать это и страстью. Он просто не знал — что с ним.

- Ты не хочешь учиться музыке? - Он умоляюще заглянул в глаза дочери. - Я бы сам водил тебя в школу...

Муська удивилась, но ничего не заподозрила:

— Здрасте, пап, ты что, забыл? Сам же говорил, что мне медведь на ухо наступил!

Никита попробовал упорствовать:

- $-\,$ Музыкальный слух можно развить. Нужно только постараться.
- Тогда я бы лучше уж танцевать стала, равнодушно отозвалась девочка. — Танцовщицы все красивые. Как мама.
- Ну да, уныло подтвердил Никита. Возразить на это было нечего. Он действительно не встречал женщины красивее, чем Таня.

Он подумал тогда: «Я и сам пошел бы, только ведь не возьмут. А почему нельзя начать учиться в тридцать три года? Самый подходящий возраст...»

Теперь, три года спустя, уже потеряв и вновь обретя рассудок, Никита пытался заставить себя думать только о том, что его любовь... или как там это называется... все же больше опустошила его, чем наполнила. Ну да, он написал за это время в десять раз больше стихов, чем за всю жизнь до Лины... Наверное, они были не совсем безнадежны, раз уж их украли... Только никакой радости Никита от этого не испытывал.

Ему казалось, что он к чему-то шел всю эту тысячу дней. Бежал, подгоняемый вдохновением и пульсирующей в крови уверенностью, что он вот-вот настигнет эту женщину, которой покорился даже Лист, дотянется до нее... А выяснилось, что оказался там же,

откуда начал свой путь. С ним по-прежнему были его семья, и друзья, и студенты, а Никита видел себя стоящим босиком в крапиве. Эта жгучая трава и стала главным, что составляло теперь его жизнь...

* * *

Перед моими глазами серая пелена. Порой мне кажется – это стекло. Грязное. Залапанное дождями.

В другие дни я вижу, что это паутина. Она стянула прутья клетки. Моей клетки. Она вокруг меня.

Я слышу, как невесомые ниточки нашептывают о смерти. Моей смерти. И понимаю, что мастер кошмаров, имени которого уже не вспомнить, написал обо мне. Что это я – суетливое насекомое с дрожащими от не проходящего страха лапами.

Моя жизнь не оборвалась до сих пор лишь потому, что никто из людей не опустил взгляд так низко, чтобы заметить меня.

Выходит, вокруг люди, умеющие высоко держать голову. Для меня будет честью погибнуть от руки одного из них.

Иногда я слышу их голоса. Они звучат приглушенно и невнятно. Наверное, нас разделяет целая толща воды. И стекло... Все-таки стекло, которое я вижу перед собой, вставлено в иллюминатор корабля. Может быть, я – единственный пассажир этого корабля. А может, и не пассажир даже...

Что-то подсказывает мне: наступит час, когда я поверю, что это судно принадлежит мне целиком. Но пока меня еще гложут сомнения. Не просто поверить, что ты обладаешь чем-то большим, нежели окружающие тебя люди.

Если к тому же нет полной уверенности, что ты – человек...

* * *

Квартира Антона как раз и была одной из тех, над которыми расположилась «Богема». Его обаяния без труда хватило на то, чтобы уговорить старушку-соседку разрешить им раз в неделю топтаться у нее над головой. Один раз со временем перерос в три, а то и четыре, но старушка все равно почти ничего не слышала.

К тому же, оказалось, она нянчила Антона еще в те времена, когда он даже не знал такого слова «богема». Соседка настаивала, чтобы Антон и сейчас хоть изредка захаживал к ней с кем-нибудь из друзей, и неторопливо, со вкусом, рассказывала, как держала их лидера на коленях — «по кочкам, по кочкам!». И как он бесстыже пи́сал ей прямо на ситцевый халатик.

Все приятели, не сговариваясь, начинали уверять, что значит ей «гулять» на Антоновой свадьбе, хотя никто в это не верил. Не только потому, что бабушке оставалось каких-то полгода до девяностолетия... Это бы еще куда ни шло: закаленное, как сталь, поколение и не такое долголетие могло потянуть. Но вот представить Антона женатым не мог ни один из хвалившихся своим воображением поэтов.

Никита как-то раз даже назвал квартиру приятеля «спальней «Богемы»». Антон на это не то что не обиделся, но даже остался доволен. Главным его талантом, помимо того, что он «задней лапой» писал статьи о «культурной жизни», можно было считать то, что Антону удавалось сохранять удивительно трогательные отношения со всеми отставными подругами. Он любил людей, и ему нравилось доставлять им удовольствие. Не для себя же он создал этот «чердачный клуб»! Сам Антон никогда не сочинял без задания.